

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
XIX века

Сергей Тимофеевич Аксаков

1791–1859

ДЕТСКИЕ ГОДЫ БАГРОВА-ВНУКА, служащие продолжением Семейной хроники

(Отрывки)

ЧУРАСОВО

<...> Мать ушла. Печально сели мы вдвоем с милой моей сестрицей за обед в большой столовой, где накрыли нам кончик стола, за которым могли бы поместиться десять человек. Начался шум и беготня лакеев, которых было множество и которые не только громко разговаривали и смеялись, но даже ссорились и толкались и почти дрались между собою; к ним беспрестанно прибегали девки, которых оказалось еще больше, чем лакеев. Из столовой был коридор в девичью, и потому столовая служила единственным сообщением в доме; на лаковом желтом ее полу была протоптана дорожка из коридора в лакейскую. Тут-то нагляделись мы с сестрой и наслушались того, о чем до сих пор понятия не имели и что, по счастью, понять не могли. Евсеич и Параша, бывшие при нас неотлучно, сами пришли в изумленье и даже страх от наглого бесстыдства и своеволия окружавшей нас прислуги. Я слышал, как Евсеич шепотом говорил Параше: «Что это! Господи! Куда мы попали? Хорош господский, богатый дом! Да это разбой денной!» Параша отвечала ему в том же смысле. Между тем об

нас совершенно забыли. Остатки кушаний, приносимых из залы, ту же минуту нарасхват съедались жадными девками и лакеями. Буфетчик Иван Никифорович, которого величали казначеем, только и хлопотал, кланялся и просил об одном, чтоб не трогали блюд до тех пор, покуда не подадут их господам за стол. Евсеич не знал, что и делать. На все его представленья и требованья, что «надобно же детям кушать», не обращали никакого внимания, а казначей, человек смиренный, но нетрезвый, со вздохом отвечал: «Да что же мне делать, Ефрем Евсеич? Сами видите, какая вольница! Всякий день, ложась спать, благодарю Господа моего Бога, что голова на плечах осталась. Просите особого стола». Евсеич пришел в совершенное отчаянье, что дети останутся *не кушамши*; жаловаться было некому: все господа сидели за столом. Усердный и горячий дядька мой скоро, однако, принял решительные меры. Прежде всего он перевел нас из столовой в кабинет, затворил дверь и велел Параше запереться изнутри, а сам побежал в кухню, отыскал какого-то поваренка из багровских, велел сварить для нас суп и зажарить на сковороде битого мяса. Евсеич поспешно воротился к нам и стал ожидать конца обеда, чтоб немедленно вызвать через кого-нибудь нашу мать и чтобы донести обо всем происходившем в столовой. Вслед за стуком отодвигаемых стульев и кресел прибежала к нам Александра Ивановна. Узнав, что мы и не начинали обедать, она очень встревожилась, осердилась, призвала к ответу буфетчика, который, боясь лакеев, бессовестно солгал, что никаких блюд не осталось и подать нам было нечего. Хотя Александра Ивановна, представляя в доме некоторым образом лицо хозяйки, очень хорошо знала, что это бессовестная ложь, хотя она вообще хорошо знала чурасовское лакейство и сама от него много терпела, но и она не могла себе вообразить, чтоб могло случиться что-нибудь похожее на случившееся с нами. Она вызвала к себе дворецкого Николая и даже главного управителя Михайлушку, живших в особенном флигеле, рассказала им обо всем и побожилась, что при первом подобном случае она доложит об этом тетушке. Николай отвечал, что дворня давно у него от рук отбилась и что это давно известно Прасковье Ивановне, а Михайлушка, на

которого я смотрел с особенным любопытством, с большою важностью сказал, явно стараясь оправдать лакеев, что это ошибка поваров, что кушанье сейчас подадут и что он не советует тревожить Прасковью Ивановну такими пустяками. Только что они ушли, пришла мать. Александра Ивановна, очень встревоженная, начала ее обнимать и просить у нее прощенья в том, что случилось с детьми. Она прибавила, что если дело дойдет до тетушки, то весь ее гнев упадет на нее, ни в чем тут не виноватую. Мать очень дружески ее успокоила, говоря, что это безделица и что дети поедят после (она уже слышала, что нам готовят особое кушанье) и что тетушка об этом никогда не узнает. Успокоенная Александра Ивановна ушла к гостям, а я принялся подробно рассказывать матери все виденное и слышанное мной. Тут моя мать так взволновалась, что вся покраснела и чуть не заплакала. Она очень благодарила Евсеича, что он увел нас из столовой, приказала, чтоб мы всегда обедали в кабинете, и строго подтвердила ему и Параше, чтоб чурасовская прислуга никогда и близко к нам не подходила. Евсеич и Параша ушли, а с ними и сестрица.

Оставшись наедине с матерью, я обнял ее и поспешил предложить множество вопросов обо всем, что видел и слышал. Мать очень смущалась и затруднялась ответами. Я уже давно и хорошо знал, что есть люди добрые и недобрые; этим последним словом я определял все дурные качества и пороки. Я знал, что есть господа, которые приказывают, есть слуги, которые должны повиноваться приказаниям, и что я сам, когда вырасту, буду принадлежать к числу господ, и что тогда меня будут слушаться, а что до тех пор я должен всякого просить об исполнении какого-нибудь моего желания. Но как Прасковью Ивановну я считал такою великою госпожой, что ей все должны повиноваться, даже мы, то и трудно было объяснить мне, как осмеливаются слуги не исполнять ее приказаний, так сказать, почти на глазах у ней? Я очень помнил, как она говорила моей матери: «Приказывай — всё будет исполняться». Я сначала думал, что лакеи и девки, пожирившие остатки блюд, просто хотели кушать, что они

были голодны; но меня уверили в противном, и я почувствовал к ним большое отвращение. Неприличных шуток и намеков я, разумеется, не понял и в бесстыдном обращении прислуги видел только грубость и дерзость, замеченную мною у мальчиков в народном училище. Мать утвердила меня в таких мыслях. Но все мои вопросы об Александре Ивановне, об ее положении в доме и об ее отношении к благодетельнице нашей Прасковье Ивановне мать оставила без ответа, прибегнув к обыкновенной отговорке, что я еще мал и понять этого не могу. Между тем смиренный буфетчик и Евсеич принесли нам обед; позвали сестрицу, и мы, порядочно проголодавшись, поели очень весело и аппетитно, особенно потому, что маменька сидела с нами. После нашего позднего обеда мать ушла к гостям, а мы с сестрицей принялись устраивать мое маленькое хозяйство, состоявшее в размещении книжек, бумаги, чернильницы, линейки и проч. Сверх того у меня был удивительный ларчик, или шкафик, оклеенный резной костью, в котором находилось восемь ящичков, наполненных моими сокровищами, то есть окаменелостями, чертовыми пальцами и другими редкими камешками, всегда называемыми мною штуфами. Крючки с лесами, грузилами и поплавками, снятые с удилищ, также занимали один из ящичков. Все восемь ящичков запирались вдруг, очень хитрым замком, тайну которого я хранил от всех, кроме сестрицы. Для такого диковинного ларца очищалось самое лучшее и видное место. Мы поставили его на бюро и при этом случае пересмотрели вновь, неизвестно в который раз, все мои драгоценности. Потом приходил к нам отец; мать сказала ему о нашем позднем обеде; он пожалел, что мы были долго голодны, и поспешно ушел, сказав, что он играет с тетушкой в пикет. Вскоре после чаю, который привелось нам пить немедленно после обеда, пришла к нам маменька и сказала, что более к гостям не пойдет и что Прасковья Ивановна сама ее отпустила, заметив по лицу, что она устала. Мать в самом деле казалась утомленною и сейчас после нашего детского ужина легла в постель. Я обрадовался случаю поговорить с нею наедине и порасспросить кое о чем, казавшемся мне непонятным, как вдруг неожиданно явилась Александра Ивановна. Вид-

но было, что она полюбила мою мать, потому что всё обнимала ее и говорила с ней очень ласково и даже потихоньку. Я не мог расслушать всех разговоров, но хорошо понял, что Александра Ивановна жаловалась на свое житье, даже плакала, оговариваясь, впрочем, что она не тетушку обвиняет, а свою несчастную судьбу. Хотя мне было жаль ее, но через несколько времени я заснул под шепот ее рассказов.

Проснувшись на следующее утро, услышал я живые разговоры между отцом и матерью. Им не для чего было рано вставать и было о чем переговорить, потому что в продолжение прошедшего дня не имели они свободной минуты побыть друг с другом наедине. Я не подавал никакого знака, что не сплю, и слушал с усиленным вниманием. Мать говорила с жаром о Прасковье Ивановне: хвалила ее простой и здравый ум, ее открытый, веселый и прямой нрав, ее правдивые, хотя подчас резкие и грубые, речи. Александра Ивановна успела накануне вечером, когда я заснул, сообщить моей матери много подробностей о Прасковье Ивановне, которую, по мнению матери, она не умела понять и оценить и в которой она видела только капризность и странности. Мать в свою очередь пересказывала моему отцу речи Александры Ивановны, состоявшие в том, что Прасковью Ивановну за богатство все уважают, что даже всякий новый губернатор приезжает с ней знакомиться; что сама Прасковья Ивановна никого не уважает и не любит; что она своими гостями или забавляется, или ругает их в глаза; что она для своего покоя и удовольствия не входит ни в какие хозяйственные дела, ни в свои, ни в крестьянские, а всё предоставила своему поверенному Михайлушке, который от крестьян пользуется и наживает большие деньги, а дворню и лакейство до того избаловал, что вот как они и с нами, будущими наследниками, поступили; что Прасковья Ивановна большая странница, терпеть не может попов и монахов и нищим никому копейки не подаст; молится Богу по капризу, когда ей захочется, — а не захочется, то и среди обедни из церкви уйдет; что священника и причет содержит она очень богато, а никого из них к себе в дом не пускает, кроме попа с крестом, и то в самые большие

праздники; что первое ее удовольствие летом — сад, за которым она ходит, как садовник, а зимою любит она петь песни, слушать, как их поют, читать книжки или играть в карты; что Прасковья Ивановна ее, сироту, не любит, никогда не ласкает и денег не дает ни копейки, хотя позволяет выписывать из города или покупать у разносчиков всё, что Александре Ивановне вздумается; что сколько ни просили ее посторонние почтенные люди, чтоб она своей внучке-сиротке что-нибудь при жизни назначила, для того чтоб она могла жениха найти, — Прасковья Ивановна и слышать не хотела и отвечала, что Багровы родную племянницу не бросят без куска хлеба и что лучше век оставаться в девках, чем навязать себе на шею мужа, который из денег женился бы на ней, на рябой кукушке, да после и вымещал бы ей за то. К этому мать прибавила от себя, что, конечно, никто лучше самой Прасковьи Ивановны не узнал на опыте, каково выйти замуж за человека, который женится на богатстве. Всё слышанное мною произвело какой-то разлад в моей голове. Если б мать не сказала прежде, что Александра Ивановна не понимает своей благодетельницы, то я бы поверил Александре Ивановне, потому что она казалась мне такою умною, ласковою и правдивою. Я вдруг обратился к матери с вопросом: «Неужели бабушка Прасковья Ивановна такая недобрая?» Мать удивилась и сказала: «Если б я знала, что ты не спишь, то не стала бы всего при тебе говорить, ты тут ничего не понял и подумал, что Александра Ивановна жалуется на тетушку и что тетушка недобрая; а это всё пустяки, одни недогадки и кривое толкованье. Прошу же не говорить об этом ни сестре, ни Евсеичу, ни Параше». Я еще больше спутался в моих понятиях и долго оставался в совершенном недоумении: добрая или не совсем добрая Прасковья Ивановна? Признаюсь, я невольно склонялся на сторону Александры Ивановны.

Рассуждая теперь беспристрастно, я должен сказать, что Прасковья Ивановна была замечательная, редкая женщина и что явление такой личности в то время и в той среде, в которой она жила, есть уже само по себе изумительное явление. Прасковья Ивановна, еще ребенком выданная замуж родными своей матери за страш-

ного злодея, испытал действительно все ужасы, какие мы знаем из старых романов и французских мелодрам, уже двадцать лет жила вдовою. Пользуясь независимостью своего положения, доставляемого ей богатством и нравственною чистотою целой жизни, она была совершенно свободна и даже своевольна во всех движениях своего ума и сердца. Мимо корыстных расчетов, окруженная вполне заслуженным общим уважением, эта женщина, не получившая никакого образования, была чужда многих пороков, слабостей и предрассудков, которые неодолимо владели тогдашним людским обществом. Она была справедлива в поступках, правдива в словах, строга ко всем без разбора и еще более к себе самой; она беспощадно обвиняла себя в самых тонких иногда уклонениях от тех нравственных начал, которые понимала; этого мало — она поправляла по возможности свои ошибки. Без образования, без просвещения, она не могла быть во всем выше своего века и не сознавала своих обязанностей и отношений к 1200 душ подвластных ей людей. Дорожа всего более своим спокойствием, она не занималась хозяйством, говоря, что в нем ничего не смыслит, и определила главным управителем дворового своего человека, Михайла Максимова, но она нисколько в нем не ошибалась и не вверялась ему, как думали другие. Она говорила: «Я знаю, что Михайлушка тонкая штука: он себя не забывает, пользуется от зажиточных крестьян и набивает свой карман. Я это знаю, но знаю и то, что он человек умный и незлой. Я хочу одного, чтоб мои крестьяне были богаты, а ссор и жалоб и слышать не хочу. Я могла бы получать доходу вдвое больше, но на мой век станет, да и наследникам моим останется». В довольстве и богатстве своих крестьян она была уверена, потому что часто наводила стороною справки о них в соседних деревнях, через верных и преданных людей. Ее крестьяне действительно жили богато, это знали все; но многочисленная дворня, вследствие такой системы управления, дошла до крайней степени тунеядства, своеволья и разврата. Если попадался на глаза Прасковье Ивановне пьяный лакей или какой-нибудь дворовый человек, она сейчас приказывала Михайлушке отдать виновато-

го в солдаты, не годится — *спустить в крестьяне*. Замечала ли нескромность поведения в женском поле, она опять приказывала Михайлушке: отослать такую-то в дальнюю деревню ходить за скотиной и потом отдать замуж за крестьянина. Но для того, чтоб могли случиться такие строгие и возмутительные наказания, надобно было самой барыне нечаянно наткнуться, так сказать, на виноватого или виноватую; а как это бывало очень редко, то всё вокруг нее утопало в беспутстве, потому что она ничего не видела, ничего не знала и очень не любила, чтоб говорили ей о чем-нибудь подобном. Прасковья Ивановна была набожна без малейшей примеси ханжества и совершенно свободно относилась ко многим церковным обрядам и к соблюдению постов. Она выстроила новую каменную большую церковь, потому что прежняя слишком напоминала своего строителя, покойного ее мужа, о котором она старалась забыть и о котором никогда не упоминала. Она любила величественность и пышность в храме божием; знала наизусть весь церковный круг, сама певала с своими певчими, стоя у клироса; иногда подолгу не ходила в церковь, даже большие праздники пропускала, а иногда заставляла служить обедни часто. Всего же страннее было то, что иногда, помолясь усердно, она вдруг уходила в начале или середине обедни, сказав, что больше ей не хочется молиться, о чем Александра Ивановна говорила с особенным удивлением. Не умея почти писать, она любила читать или слушать светские книги, и, выписывая их ежегодно, она составила порядочную библиотеку, заведенную, впрочем, уже ее мужем. Священные книги она читала только тогда, когда говела; впрочем, это не мешало ей во время говенья по вечерам для отдыха играть в пикет с моим отцом, если он был тут, или с Александрой Ивановной. Она говаривала в таких случаях, что гораздо меньше греха думать о том, как бы сделать пик или репик¹, чем слушать пустые разговоры и сплетни насчет ближнего или самой думать о пустяках. Говела она не всегда в великий пост, а как ей вздумается, раза по два и по три в год, не затрудняясь

¹ То есть *шестьдесят* или *девяносто*, как теперь выражаются технически игроки.

употреблением скоромной пищи, если была нездорова; терпеть не могла монахов и монахинь, и никогда черный клубок или черная камилавка¹ не смели показываться ей на глаза. Денег взаймы она давала очень неохотно и также не любила раздачу мелкой милостыни; но, узнав о каком-нибудь несчастном случае с человеком, достойным уваженья, помогала щедро, а как люди, достойные уваженья, встречаются не часто, то и вспоможенья ее были редки и Прасковью Ивановну вообще не считали доброю женщиною. Надобно сказать правду, что доброты, в общественном смысле этого слова, особенно чувствительности, мягкости — в ней было мало, или лучше сказать, эти свойства были в ней мало развиты, а вдобавок к тому она не любила щеголять ими и скрывала их. Правда, не много было людей, которых она любила, потому что она любила только тех, кого уважала. Из всего круга своих многочисленных знакомых она больше всех любила Миницких, а впоследствии мою мать. Наконец, правда и то, что с гостями своими обходилась она слишком бесцеремонно, а иногда и грубовато: всем говорила «ты» и без всякой пощады высказывала в глаза всё дурное, что слышала об них или что сама в них замечала. Все чувствовали, более или менее сознательно, что Прасковья Ивановна мало принимает участия в других, что она живет больше для себя, бережет свой покой и любит веселую беззаботность своей жизни. Это не мешало, однако, беспрестанному приливу и отливу многочисленной толпы гостей и выражению общего глубокого почтения и преданности. Своекорыстных расчетов тут не могло быть, потому что от Прасковьи Ивановны трудно было чем-нибудь поживиться; итак, это необыкновенное стечение гостей можно объяснить тем, что хозяйка была всегда разговорчива, жива, весела, даже очень смешлива: лгунов заставляла лгать, вестовщиков — рассказывать вести, сплетников — сплетни; что у ней в доме было жить привольно, сытно, свободно и весело. К сожалению, жалобы Александры Ивановны были не совсем несправедливы. С живущими постоянно в доме: Дарьей Ва-

¹ *Камилавка* — высокий головной убор православных священников, который обычно жаловали в качестве поощрения.

сильевой и двоюродной внучкою-сиротой, то есть с Александрой Ивановной, — Прасковья Ивановна обращалась невнимательно и взыскательно, — они были не что иное, как приближенные служанки. Дарья Васильевна, старая и глупая сплетница, хотя и добродушная женщина, не чувствовала униженности своего положения, а очень неглупая и добрая по природе Александра Ивановна, конечно, не понимавшая вполне многих высоких качеств своей благодетельницы и не умевшая поставить себя в лучшее отношение, много испытывала огорчений, и только дружба Миницких и моих родителей облегчала тягость ее положения.

Я описывал Прасковью Ивановну такую, какую знал ее сам впоследствии, будучи еще очень молодым человеком, и какую она долго жила в памяти моего отца и матери, а равно и других, коротко ей знакомых и хорошо ее понимавших людей.

Жизнь в Чурасове пошла, как заведенные часы: гости сменялись одни другими, то убывали, то прибывали. Мать с каждым днем приобретала большую благосклонность Прасковьи Ивановны, с каждым днем становилась дружнее с Александрой Ивановной и еще более с Миницкими. Это были поистине прекраснейшие люди, особенно Павел Иваныч Миницкий, который с поэтической природой малоросса соединял энергическую деятельность, благородство души и строгость правил; страстно любя свою красавицу жену, так же любившую своего красавца мужа, он с удивительною настойчивостью перевоспитывал ее, истребляя в ней семена тщеславия и суетности, как-то заронившиеся в детстве в ее прекрасную природу. Мать устроила свое время очень хорошо, благодаря совершенной свободе, которую допускала и даже любила в своем доме Прасковья Ивановна. Мать обедала всегда вместе с нами, ранее целым часом общего обеда, за которым она уже мало ела. Сначала нередко раздавался веселый и громкий голос хозяйки: «Софья Николавна, ты ничего не ешь!» Потом, когда она как-то узнала, что гостья уже вполнину обедала с детьми, она посмеялась и перестала ее потчевать. Когда Прасковья Ивановна садилась играть в карты, мать уходила к нам. Впрочем, быть с нею наедине в это время нам мало удавалось, даже менее, чем поут-

ру: Александра Ивановна или Миницкий, если не были заняты, приходили к нам в кабинет; дамы ложились на большую двуспальную кровать, Миницкий садился на диван — и начинались одушевленные и откровенные разговоры, так что нас с сестрицей нередко усылали в столовую или детскую. Однако мать не любила этого переселения, потому что столовая продолжала служить постоянным и беспрестанным путем сообщения девичьей с лакейской, в детскую же часто заглядывали горничные. Мы с сестрицей каждый день ходили к бабушке только здороваться, а вечером уже не прощались; но меня иногда после обеда призывали в гостиную или диванную, и Прасковья Ивановна с коротко знакомыми гостями забавлялась моими ответами, подчас резкими и смелыми, на разные трудные и, должно признаться, иногда нелепые и неприличные для дитяти вопросы; иногда заставляла она меня читать что-нибудь наизусть из «Россиады» или сумароковских трагедий. Я чувствовал, что мною не занимаются, а потешаются; это мне не нравилось, и потому-то именно мои ответы были иногда неприлично резки и не соответствовали моему возрасту и природным свойствам. Мать бранила меня за это наедине, я отвечал, что мне досадно, когда поднимают на смех мои слова, да и говорят со мной только для того, чтобы посмеяться. Отец вообще мало был с нами; он проводил время или с Прасковьей Ивановной и ее гостями, всегда играя с ней в карты, или призывал к себе Михайлушку, который был одним из лучших учеников нашего Пантелея Григорьича, и читал с ним какие-то бумаги. Тут я узнал, что мой отец недаром беседовал в Багрове с слепым нашим поверенным, что он затевает тяжбу с Богдановыми об именье, следовавшем моей бабушке Арине Васильевне Багровой по наследству. Отец ездил для этого дела в город Лукоянов и подал там просьбу; он проездил гораздо более, чем предполагал, и я с огорчением увидел после его возвращения, что мать ссорилась с ним за то, и не один раз.

Еще прежде отец ездил в Старое Багрово и угощал там добрых наших крестьян, о чем, разумеется, я спросил его очень подробно и с удовольствием услышал, как все сожалели, что нас с матерью там не было.